

АНТИМУЖЧИНА

Роман*

Есть женщины в русских селеньях...

Н. Некрасов

Нет женщин — есть антимужчины.

А. Вознесенский

Часть первая

1

Ни фамилии, и ни имени ее настоящих я, конечно же, не открою. Кто с ней знаком — тот и так догадается, а кто не знаком — тому и знать ни к чему. Но я-то ее знаю достаточно, чтобы взяться за ее жизнеописание... А что биографией моей героини интересуются, я не сомневаюсь — настолько это личность яркая и талантливая, хотя в первой половине жизни, пока она искала себя, ее своеобразные таланты не проявлялись, судьба не припасла ей столбовой дороги. Но теперь уже очевидно, сколь многого в жизни она успела добиться, и добьется еще большего — я в этом уверена. Поэтому и берусь за скромное исследование, которое, может быть, окажется материалом для будущих биографов: как женщина, выбившись из самых низов, совершенно одна, без чьей-либо помощи и поддержки, может добиться в жизни определенного успеха.

* * *

А достаточно я ее знаю не только потому, что учились вместе и выросли в одном дворе, а потому еще, что жили в одном доме, в одном подъезде, даже на одной лестничной площадке, дверь в дверь с тех пор, как этот панельный дом, стандартную пятиэтажку в рабочем квартале, построили, и наши с ней родители в него вселились, когда нам было по семь лет.

Я даже помню день, когда его заселяли: то был канун 1 Мая, большого тогда праздника: красные флаги кругом, духовой оркестр играет, люди во дворе дома, еще пустого, сбились в большой круг, и какой-то дородный мужчина держит речь. Я стояла прямо перед ним, рядом с мамой, хотя забыла уже, о чем он говорил, запомнила только, как он показал на меня пальцем и сказал, что как раз когда я вырасту, устанет коммунизм.

Я еще испугалась его и спряталась за мамину спину, и тут увидела недалеко от себя такую же, как я, девочку, только черноглазую и темноволосую. Она стояла рядом с крупной рыжей женщиной и выглядела ужасно неопрятно: застиранное платьишко, стоптанные сандалики на босу ногу и разбитая коленка, замазанная зеленкой. Девочка глядела на выступающего человека без всякого страха и при этом ковыряла в носу, потом извлекла из носа темную козявку, внимательно рассмотрела ее и принялась скатывать в шарик, а скатав, оглянулась вокруг, увидела в двух шагах мальчишку чуть старше себя и щелчком запустила шарик в него. Мальчишка втихомолку показал ей кулак, девочка в ответ тотчас высунула язык, красный и длинный-предлинный. Тут она заметила мой взгляд и мне его показала.

В конце митинга главам семейств (главой нашей семьи была моя мама) вручили ключи от квартир, оратор пожимал им руки и поздравлял, все хлопали в ладоши, а оркестр нярявал бравурный марш.

Потом все смешалось, и я потеряла девочку из вида; подъезжали набитые вещами грузовики, по лестницам таскали шкафы, диваны, гроздь стульев, пухлые узлы, и все почему-то бегом, как угорелые — будто боялись, что кто-то отберет назад ключи, и чистую новую лестницу быстро затоптали и замусорили. Почему-то лестницу было жалко.

Когда вещи занесли и стали наскоро расставлять и распахивать по квартире — оказалось, я всем мешаю, и пошла посмотреть, что делается на улице, и тут увидела, как эта девочка (которая и оказалась Катей Ивановой) выходит из квартиры напротив: она — моя ближайшая соседка!

* * *

Мы с ней подружились. Верней, нас сблизило соседство дверь в дверь и то, что мы с ней учились в одном классе, даже сидели за одной партой.

Но дружба была неровной: мы были совершенно разные. Сама я, неизменно «хорошая девочка», своим первым слоем души немножко презирала ее — она раздражала меня своей неряшливостью и невниманием ко всему на свете, кроме собственных желаний. Когда мы с ней ходили на елку или в детский театр, мне приходилось преодолевать стыд за нее и страх, что она непременно меня подведет и опозорит, и я без конца делала ей замечания.

Но другим слоем души, смутным и глубинным, я ее любила — мне нравилось смотреть на нее и быть рядом: красота ее упорно пробивалась в ней уже тогда, несмотря на ее полное равнодушие к своей внешности и одежде.

Естественно, я бывала и у нее дома, в их многочисленном и шумном, даже буйном семействе: кроме папы и мамы, у нее были еще брат Колька и сестра Люся; приглядываясь к их жизни, я стала понимать истоки Катиной натуры и многое ей от этого прощала.

Правда, сказать о них «шумное семейство» — это почти ничего не сказать: каждый там обладал настолько необычной индивидуальностью, что я поначалу смотрела на них с удивлением, потому что каждый из собрания этих индивидов не только ничего из своих особенностей не стыдился и не прятал — а наоборот, кичился ими и выставлял напоказ. Дети ссорились и дрались, родители шпыняли и драли детей, те защищались от них воплями, а становясь старше — яростно препирались и дерзили родителям.

Бывая у них и уставая от их ругани, я спрашивала дома:

— Мама, почему они все время кричат и ругаются?

И она объясняла мне:

— Потому что они выросли в тесноте — они переехали сюда из бараков.

А в бараке они оказались потому, что родом из деревни, и — никакого блата, чтобы зацепиться в городе как-то по-иному. При этом Катина мама хотела, чтобы в нашем доме их считали «городскими», и стеснялась своих деревенских родственников, когда те наезжали и останавливались у них — их квартира была своего рода перевалкой, через которую они просачивались и наполняли собой город; а если их принимали за «деревенских», Катина мама обижалась, за такое оскорбление она могла выцарапать глаза, и это не метафора, она и вправду была драчлива. Звали ее Анастасия Филипповна, или, по-уличному, Тася, а Катиного папу — Василий. Какое-то отчество и у него тоже было, но его никто не знал, так без отчества и сгинул потом.

Была тетя-Тася (так я ее звала) крепкая рыжая женщина. Не толстая, а именно крепкая: с могучими плечами, грудью и бедрами, — и решительная: когда Василий приходил домой пьяный и начинал бузить, она давала ему такую затрещину, что тот сразу валился с ног и засыпал. И когда я учила в школе стихи про «женщину в русских селеньях», которая «коня на скаку остановит» — то представляла ее себе именно тетей-Тасей.

Работала она в ремстройконторе на должности инженера и ходила всегда «как инженер»: в шелковых платьях, в туфлях на высоких каблуках, ярко красила губы и пахла духами «Москва» — от этого крепкого, приторно-сладкого запаха, смешанного с крепким же запахом пота, меня, с моей чувствительностью, мутило так, что я готова была хлопаться в обморок.

* * *

Копнуть глубже относительно Катиных корней нет никакой возможности: дальше родителей родословная ее теряется во мгле прошлой деревенской жизни, вспоминать о ней они не любили. Но рассказать подробнее о них самих стоит: слишком многое в Кате заложено ими.

История их городской жизни началась с того, что шестнадцатилетними они вместе приехали в город, поступили в строительный техникум и решили: как закончат его — поженятся. Но дядь-Вася техникума не закончил.

Надо сказать, что дядь-Вася, каким я его помню, хотя внешне и не представительный, даже невзрачный — кадыкастый, жилистый, сутулый, с длинными руками, с крикливым скрипучим голосом, — был, однако, при этом мужик моторный и с авантюрной жилкой, а в юности — еще, наверное, моторнее, потому что уже на втором курсе сбил компанию из однокашников, таких же отчаянных головушек, как сам, и они грабанули магазин на городской окраине. Тому, будто бы, имелось у Василия «железное» оправдание перед своей совестью: маленькая стипенсия, помощи из дома ждать бесполезно, а жрать охота. Да и не только жрать: охота и пальто, и костюм, и желтые «корочки» взамен кирзовых ботинок, и часы на руке — «чтобы всё, как у людей»; и своей подруге Тасе охота было подарочки дарить, и Тася, будто бы, от подарочков не только не отказывалась, а наоборот, радовалась им и к Васе после них была благосклоннее... Грабануть-то они грабанули, но с награбленным засыпались. Васе, как вдохновителю, хотя и несовершеннолетнему, обломилось пять лет отсидки, три из которых он добросовестно отбухал, остальное скостили по зачетам.

Выйдя, учиться он больше не стал, а вернулся к Тасе, которая после техникума уже работала. И она, надо отдать ей должное, его дождалась, хотя, по некоторым намекам, у нее «были варианты». Даже, похоже, сочла

своим долгом дожидаться и принять. В общем, они поженились, он пошел работать на стройку, им дали комнату в бараке, и начали они жить и плодиться...

Но иногда дядь-Вася исчезал на несколько месяцев.

— В командировке он, замучили мужика командировками! — говаривала тогда всем тетя-Тася.

Только став старше, я поняла, что «командировки» эти у него — в одно место — за решетку, потому что, отсидев однажды, он воровства не только не бросил, но и пристрастился к нему, а кроме того — еще и к выпивке, и таскал со стройки и продавал дачникам все, что плохо лежит: краски, рубероид, окна, двери — пока, наконец, его не ловили и не судили. Но тюремные сроки, как правило небольшие — брать помногу он теперь опасался — заканчивались, он благополучно возвращался домой и поступал на новую стройку — чтобы снова красть.

С женой, тетя-Тасей, они постоянно ругались. А то и дрались.

Старшие дети, Колька с Люськой, подростки, стали вмешиваться в родительские дразги, разделившись по половому признаку: сын — на стороне отца, а дочь, соответственно — матери. Да они и были похожи на родителей: Колька — такой же, как отец, худой, кадыкастый, крикливый; а Люська — вся в мать, рыжая и дебелая, — так что семейка превратилась в боевой лагерь, который всегда начеку: всё, вроде бы, тихо, ничто не предвещает бури, и вдруг — заорали, сбегались в кучу, замахали руками! — причем борьба шла с переменным успехом: в словесных перепалках верх брала женская сторона, зато в рукопашной чаще побеждала мужская сила (но не всегда: если дядь-Вася был слишком поддатый, то верх опять-таки брали тетя-Тася с Люськой).

Постоянная вражда мужа с женой, насмешки и оскорбления перерастали чисто семейные отношения и переносились на отношение к полу целиком, так что женской половиной семьи презиралась, оскорблялась и ненавиделась вся мужская половина человечества: «пьянь, ворье, страмота» и проч., — а мужской половиной, соответственно — женская: «суки, свиристелки, бабье проклятое», вплоть до нецензурных слов. Так что еще в детстве и я тоже, не говоря уж о Кате, наслушалась специфических терминов.

Оберегая меня от этого лексикона, мама запрещала мне к ним ходить. Но, даже не бывая у них, все это можно было слышать где угодно: на лестнице, во дворе, в школе — так что если в семь лет смысл этих ругательств я едва понимала, то годам к двенадцати весь лексикон усвоила полностью.

* * *

Однако хуже всех в их семействе было Катюше.

Обычно самого младшего, да если еще этот ребенок — девочка, в семьях любят и балуют. В той семье было не так: Катя оказалась там парией. Для этого имелись свои мотивы и обстоятельства.

Главным обстоятельством семейных раздоров был сам факт Катиного рождения. Дело в том, что родилась Катя в неурочное время, вскоре после очередной отцовской отсидки, и, по его подсчетам, быть родной дочерью никак не могла. Правда, обвинить тетя-Тасю было непросто: она упорно уверяла его, что *заделал* он ей перед самым арестом, и обзывала за неверие «тупорылой скотиной» и «недоумком»; а если он слишком наседавал — предлагала:

— Вали-ка ты отсюда, надоел совсем!

Только тогда он утихал.

Самое Катюшу дядь-Вася называл «тварью» и «отродьем» или кричал тетя-Тасе: «Убери этого суразенка!» — и если Катя попадалась ему под ноги, давал ей тычка или пинка, так что ее, маленькую, уже и брат с сестрой, и дети во дворе дразнили «суразенком», пока, подростки, она не научилась драться и защищать себя и, в конце концов, от этого «суразенка» самостоятельно, без чужой помощи всех отучила.

Естественно, Колька с Люськой подхватили отцову неприязнь к Кате и с чисто подростковой жестокостью изгалялись над ней: съедали или портили ее еду, отбирали игрушки, ябедничали на нее родителям, а если она вступалась за себя — еще и колотили втихую, пока она не подросла и не научилась отбиваться от них с яростью затравленной кошки.

Поэтому, наверное, она и стала такой неуязвимой к обидам, с крепкими, как проволока, нервами. Она не умела плакать — от боли и обиды у нее лишь выступали слезы, так что глаза ее сверкали тогда черными жемчужинами и набухали так, что, казалось, лопнут от внутреннего давления. Может, она и плакала, но никто этого не видел, даже я, потому что это был бы нонсенс: Катя — няня, Катя — плакса, — и лишь добавил бы ее мучителям удовольствия.

2

В пятнадцать лет наши пути разошлись.

Мы с моей мамой никогда не обсуждали, куда я пойду после школы: само собой — только в универ, на филфак. Я прочла уйму книг, учительница литературы зачитывала на уроках мои сочинения как образцовые, говорила, что у меня светлая голова, и мой путь был предопределен.

Кате тоже хотелось закончить среднюю школу, не из-за каких-то конкретных планов — в голове у нее на этот счет была каша: то ей хотелось стать стюардессой Аэрофлота, то милиционером — ей, видите ли, форменная